

Яков Минченков

**Лемох Кирилл
Викентьевич**



SHOUT
SHARE IT



Annotation

«...Более деликатного человека, чем Лемох, я не встречал за всю свою жизнь. Ни одного резкого слова, ни одной враждебной к кому бы то ни было мысли. Была ли у него врожденной эта черта, или она явилась следствием долгого его пребывания при дворе, где он преподавал рисование князьям, – сказать трудно.

«Позвольте-с... извините... будьте любезны, виноват-с...» – слышалось постоянно при разговоре с Кириллом Викентьевичем. Но в то же время он умел сохранять и свое достоинство...»

- [Яков Данилович Минченков](#)



- [Примечания](#)

Яков Данилович Минченков

Лемох Кирилл Викентьевич

Более деликатного человека, чем Лемох, я не встречал за всю свою жизнь. Ни одного резкого слова, ни одной враждебной к кому бы то ни было мысли. Была ли у него врожденной эта черта, или она явилась следствием долгого его пребывания при дворе, где он преподавал рисование князьям, – сказать трудно.

«Позвольте-с... извините... будьте любезны, виноват-с...» – слышалось постоянно при разговоре с Кириллом Викентьевичем. Но в то же время он умел сохранять и свое достоинство.

Вам чудилось, что он думает: «Вы прекрасный человек, и я тоже, между нами ничего не может быть, кроме приятностей. И вообще – все люди прекрасны».

Он был противоположностью Мясоедову, который не находил на земле ни одного порядочного человека.

Если до ушей Лемоха доходили неприятные слухи, что-либо дурное о ком-нибудь – он отмахивался от них. «Пустое, это все только говорят, да-с! болтают, а он прекрасный человек!»

В особенности не могли быть дурными людьми москвичи, которых он особо чтил, будучи сам родом из Москвы, хотя жил и учился в Питере.

Он вспоминал московскую жизнь, московские дворики, церковки, бани, из которых с товарищами выбегал во двор, валялся в снегу и снова парился.

По внешности он был небольшого роста, сухой, бритый, с легким пушком на лысой голове. Приятная улыбка не сходила с лица, лишь в минуту легкого раздражения заметно было слабое подергивание на щеках. Ходил осторожно, легко и приятно скользя по паркету. На левом борту фрака или пиджака – золотое пенсне, а из кармана на груди выглядывал ослепительно белый уголок носового платка. В общем напоминал немецкого чиновника. Лемох и был немец, настоящее имя его было Карл.

Когда ко двору понадобился учитель, то в силу своего немецкого происхождения, своей аккуратности и деликатности и направления в искусстве он, как никто из художников, ближе подошел к этой роли.

При дворе его переименовали из Карла в Кирилла и приставили учить детей царя Александра III. Лемох застал еще Александра II, который приходил на уроки внука Николая, будущего царя Николая II и достаивал учителя своими разговорами.

Александр II, обращавшийся на «ты» даже с высшими чинами, говорил почему-то Лемоху «вы».

Из придворной жизни мало о чем можно было узнать от Лемоха, разве о мелочах. Что мог сказать деликатнейший и осторожный учитель царей? «Все прекрасно и все прекрасны, и царь и мужики (о рабочих тогда почти не упоминалось). Прекрасны и мы все, а если говорят что другое, то просто болтают».

Товарищи в шутку спрашивали: «Правда ли, что тебя, Кирилл Викентьевич, при дворе первое время обыскивали?» Лемох чуть-чуть обижался: «Глупости-с, государь даже руку подавал».

До некоторой степени представлялось так, что царям, окруженным придворной челядью, не с кем было даже словом обмолвиться по-человечески. Все выслуживались, подбострастничали, лгали, льстили, а Лемох и при своей деликатности был все же более независимым и свежим человеком и не пресмыкался так, как пресмыкались прошедшие эту науку царедворцы.

Придворные удивленно спрашивали, как Лемох осмеливался обращаться с вопросами к императору, а тот тоже удивлялся тому, что этого не разрешалось делать. И царь разговаривал с Лемохом, не обращая внимания на нарушение последним придворного этикета.

Все же пребывание Лемоха при дворе наложило и на него отпечаток придворного служащего, и это как-то не вязалось с его положением в среде независимых передвижников.

Его, пожалуй, выручала безусловная честность, товарищеские чувства, готовность всякому помочь, его «святая простота» во всех вопросах общественности – простота, на которую трудно было даже рассердиться.

Все знали, что с Лемохом нельзя было говорить о политике, об общественных не порядках, так как он требовал только личного совершенствования и «неосуждения брата своего».

Ни на кого Лемох не сердился и никого не винил. Весь свет хорош – и бедные и богатые. Богачи должны помогать бедным, и от этого будет еще лучше.

В своих произведениях он переносил немецкий сентиментализм на русскую почву. Любил изображать трогательные сценки, особенно из крестьянской жизни: сироток, больных детей у благодетеля, мальчиков, подносящих букеты девочкам.

Лемох выслужил пенсию за обучение князей, был хранителем картинной галереи в бывш. Музее Александра III, куда аккуратнейшим образом являлся к определенному часу, сидел в

огромнейшем кабинете и давал разрешение на копирование картин в музее.

В то время заведовал музеем князь Георгий, ничего в искусстве не понимавший, но получавший огромные деньги на поездки за границу «для изучения современного искусства».

Несмотря на такие «научные» поездки, князь для определения достоинства художественного произведения, приобретаемого в музей, обращался к своей жене, считая ее более авторитетной в вопросах искусства.

Служба для Лемоха являлась скорее развлечением, так как в средствах он не нуждался, получая пенсию и имея сбыт своих вещей главным образом среди царской фамилии и лиц, близких ко двору.

На крышке рояля у Лемоха стояли фотографические карточки от признательных его учеников – царя и князей – и их работы: рисунки, акварели.

Дочери Кирилла Викентьевича, жившей иногда одной с прислугой на даче, понадобился револьвер. Лемох, хотя и боялся всякого оружия, подал градоначальнику прошение о разрешении иметь оружие. Явился к нему пристав с такими словами:

«Для разрешения на револьвер мне от градоначальника предписано сделать негласное расследование, с кем вы знакомы и кто у вас бывает, так вы лучше сами укажите на ваших знакомых».

Лемох подвел пристава к роялю и, указывая на карточки, ответил: «Вот мои знакомые». Пристав, увидав карточку царя с собственноручной подписью: «Дорогому К. В. Лемоху Николай II», так растерялся, что отдал честь карточке и сказал хозяину: «Достаточно, достаточно, мне больше ничего не надо».

В Товариществе Лемох был неизменным членом Правления и кассиром: при своей аккуратности и честности в этой роли он был незаменим. У него хранились книги Товарищества, ему присылались отчетности сопровождающих выставку, и он каждый день в своей мастерской производил подсчет тех сумм. И если получалась разница хотя бы в нескольких копейках, он терял спокойствие и пересчитывал все статьи до тех пор, пока не находил ошибки.

Каждый день он мог показать баланс и банковскую книжку, в которой сумма точно совпадала с итогами его книги.

Бухгалтерии он не знал, счетоводство было упрощенное, придуманное еще Крамским, и в нем разбирался всякий, однако и оно привело однажды кассира в тупик.

Правление выдало некоторую сумму московским товарищам на расходы. Те тратили и представили отчетность Лемоху. Он проверил расход – все было в порядке, но выходило так, что по

главной книге не хватало пятидесяти рублей. Лемох пришел в ужас, но как ни бился, а пятидесяти рублей нет как нет. Пришлось пригласить бухгалтера, заплатить ему еще пятьдесят рублей, и тот доказал, что действительно все верно и недостачи нет, а недоразумение произошло потому, что питерцы считали по простой бухгалтерии, а москвичи по двойной итальянской, чем потом гордился москвич Архипов, добавляя: «Но больше никогда не возьмусь за счетоводство».

Летом Лемох жил под Москвой недалеко от села Ховрино на собственной дачке, стоявшей в тени среди маленькой рощицы. Тут же отдельно, в небольшом срубе, похожем на крестьянскую избу, – его мастерская.

Сюда приходили натурщики из деревни, когда он писал картины из крестьянской жизни. Всех крестьян в деревне он знал и почти всем помогал деньгами или подарками. Вырыл для деревни колодец, чтобы не пили из грязного ручья, строил избы погорельцам, давал деньги на разные семейные нужды.

Пишет Лемох с девочки этюд и спрашивает свою натурщицу, что в ее доме едят и пьют ли молоко. Девочка отвечает, что молока не пьют, так как нет коровы. Кирилл Викентьевич идет на воскресную ярмарку в ближайшее село, выбирает корову, платит за нее, велит отвести корову в деревню и передать ее матери девочки, с которой вел разговор.

Получилась трогательная картина: продавец передает корову крестьянке, а та не берет ее, так как не покупала и у мужа денег нет. Недоразумение, наконец, выяснилось, крестьянка узнает, что корову прислал добрый Лемох, и, счастливая, со слезами на глазах, отводит корову в хлев.

Пригородные крестьяне, испорченные городом, притеснениями и подачками барства, нищетой и случайными легкими заработками, постоянно надували своего благодетеля. Особенно отличался этим Иван, сторож дачи Лемоха, живший в ближайшей деревне.

Несмотря на то, что он аккуратно получал свое жалованье, Иван зимой писал Лемоху слезные жалобы на свои несчастья и просил денег. Поводы для просьб были разнообразные: то телка пала, то крыша в избе завалилась, то жена родить собирается, то, наконец, родила и будто бы даже двойню, а через месяц-два опять собирается рожать.

Лемох, тайком от семьи, которая не особенно разделяла его взгляды, посылал деньги Ивану, не удивляясь даже особенным способностям жены его к деторождению.

Иван пропивал деньги и снова клеветал на телку, жену и ждал новой присылки денег.

Жизнь на даче у Лемоха протекала трогательная, патриархальная.

Приедешь, бывало, на станцию Ховрино, пройдешь с версту парком и полем и видишь потонувшую в зелени дачку. Кругом золотистая рожь, вдали березки. Вечереет, по меже бредет-гуляет в темной пелерине и соломенной шляпе Кирилл Викентьевич с супругой или дочерью. И встреча: «Позвольте-с, как это приятно, что вы приехали, не промочили ли ноги по дороге? Не холодно ли? Может, вам дать шаль?».

Закуска, чай и мирные, доброжелательные разговоры до позднего вечера, до отхода поезда. Уходишь и видишь, как на дачке гаснет свет. Обитатели ее отошли к мирному сну.

В Петербурге Лемох жил на Васильевском острове, на Малом проспекте. В верхнем этаже он устроил мастерскую с верхним светом. Чтобы попасть в его квартиру, приходилось подыматься по узкой лестнице на четвертый этаж. Позвонишь и долго, долго ждешь, пока старая няня дочери Лемоха откроет дверь, около которой стоял даже стул для ожидающих.

Входишь в переднюю, а из гостиной идет встречать гостя сам Кирилл Викентьевич, закутанный в теплую шаль, чтобы не простудиться в передней, в которой никогда не было холодно. Любезнейшая улыбка хозяина, во всем предупредительность. Приглашение в столовую, где почти всегда шумел самовар. С товарищами-передвижниками Лемох, как все старые передвижники, при встрече целовался.

По вторникам на квартире Лемоха собиралось довольно большое общество: товарищи-передвижники, профессора Академии художеств: и люди из мира ученых.

Часто бывал Д. И. Менделеев, сын которого, моряк, был женат на дочери Лемоха (он умер ранее моего знакомства с семьей Лемоха).

Великий ученый Менделеев был интересен в домашней обстановке. Разговор вел простой, особого русского склада. От него веяло Русью, которую он любил.

Большая, умная медвежья голова, длинные нечесанные волосы и задумчивые, иногда как бы мечтательные глаза.

Излагая новую теорию или мгновенно родившуюся мысль, Менделеев вперял в пространство глаза и точно пророчествовал.

Крутил толстейшие папиросы и подымал густой столб табачного дыма, среди которого казался каким-то магом, чародеем, алхимиком, умеющим превращать медь в золото и добывать жизненный эликсир.

Смотрю я на прожженные табаком коричневые пальцы Менделеева и говорю: «Как это вы, Дмитрий Иванович, не

бережете себя от никотина, вы, как ученый, знаете его вред».

А он отвечает: «Врут ученые, я пропускал дым сквозь вату, насыщенную микробами, и увидел, что он убивает некоторых из них. Вот видите – даже польза есть. И вот курю, курю, а не чувствую, чтобы поглупел или потерял здоровье».

Близок был к Менделееву Максимов – художник-передвижник. Максимов был малообразован, не мог разбираться в вопросах научных, сложных, общественного порядка, и все же Менделеев много с ним говорил, строил грандиозные планы экономического переустройства нашей страны и, как поэт, мечтал о ее счастливой будущности. Максимов, вспоминая разговор Дмитрия Ивановича, будоражил свою кудрявую голову и говорил: «Вот, батюшка, что Дмитрий Иванович говорит... ой-ой-ой, куда тебе!»

Вопросы искусства были близки Менделееву в такой же степени, как и вопросы науки, а народное начало, вложенное в его натуру, находило отзвук в содержании искусства передвижников, с которыми он часто общался.

На вечерах у Лемоха гости просиживали долго. Подавался легкий ужин, шли оживленные разговоры, в которых не допускались только «осуждение брата своего» и уклонение в сторону большой откровенности в легком жанре, который все же умело проводился Волковым, душой дамского общества. Он вел разговор с таким расчетом и такой умеренностью, что даже щепетильный Кирилл Викентьевич не особенно протестовал, хотя говаривал: «Ах, уж этот Ефим Ефимович! вечно он болтает!»

А дамы приставали: «Еще, еще, продолжайте дальше, Ефим Ефимович!»

Лемох уходил тогда в другую комнату, ворча добродушно: «Опять он болтает, болтает бог знает что!»

Однажды на вечере у Лемоха вспоминали о маринисте Иване Константиновиче Айвазовском. Оказалось, что Кирилл Викентьевич, будучи студентом, одно время работал со своим товарищем у Айвазовского, и о нем рассказывал нам так.

Успех Айвазовского много зависел от покровительства, которое оказывал ему император Николай I. При путешествии по морю на колесном пароходе царь брал с собой и Айвазовского. Стоя на кожухе одного пароходного колеса, царь кричал Айвазовскому, стоявшему на другом колесе:

– Айвазовский! Я царь земли, а ты царь моря!

Николай часто обращался к своим приближенным с вопросами: знакомы ли они с произведениями Айвазовского и имеют ли что-либо из них у себя?

После таких вопросов всякий из желания угодить царю

старался побывать в мастерской знаменитого мариниста.

Рядом с мастерской Айвазовского была комната, где Лемох с товарищем при помощи губки покрывали лист ватманской бумаги разведенной тушью или сепией. На бумаге образовывались пятна неопределенных очертаний. Тогда Айвазовский резал бумагу на небольшие кусочки, подрисовывал пятна, и получались морские пейзажики с тучами и волнами. Такие произведения, вставленные в рамки, он преподносил каждому важному лицу, посетившему его мастерскую. А «лицо», польщенное вниманием художника, считало долгом приобрести потом у Айвазовского какую-либо картину за сотни, а иногда и за тысячи рублей.

Ивану Константиновичу был пожалован чин тайного советника, чего не удостоился ни один из художников того времени. Айвазовский говорил, что для него важен этот чин лишь потому, что им повышается престиж художника. Однако он не отвергал и другую сторону вопроса, когда, входя в церковь в своем родном городе Феодосии, слышал шепот горожан:

– Дорогу, дорогу его высокопревосходительству!

На выставки Айвазовский не ходил и с художниками не общался. Только когда устроил свою выставку, встретился на ней с некоторыми из бывших своих товарищей по Академии. Здесь с ним поздоровался Владимир Егорович Маковский. Айвазовский снисходительно спросил его: «Вас, Маковских, было, кажется, несколько братьев?» – как будто не знал, кто именно Владимир Маковский и каково его место в искусстве.

Маковский ответил: «У моей матушки, действительно, было нас три сына, а вот вы, Иван Константинович, как видно, родились единственным в своем роде».

Когда праздновали пятидесятилетие художественной деятельности Айвазовского, он устроил парадный обед, на который пригласил всех членов Академии и выдающихся художников. В конце обеда объявил гостям: «Извините, господа, что мой повар не приготовил к обеду заключительного сладкого. Поэтому я прошу принять от меня блюдо, приготовленное лично мною». Тут лакеи на подносах подали каждому гостю маленький пейзажик с подписью Айвазовского (хотя нельзя было ручаться за подлинность оригиналов: возможно, что и они были выполнены каким-либо помощником Айвазовского, как приготавливались Лемохом и его товарищем подарки для высоких посетителей его мастерской).

Иногда Лемох показывал близким друзьям свои картины, готовые для выставки.

В. Маковский говорил:

– Прекрасно, Кирилл Викентьевич! Так и надо, батенька мой,

и пусть там говорят молодые, что хотят.

В свою очередь, смотря на картины Маковского, Лемох тоже говорил:

– Прекрасно-с, Владимир Егорович, вот именно так и надо!

Нам, молодым москвичам, старики не любили показывать свои картины до выставки, считая нас вольтерьянцами в искусстве, не признающими старых традиций в живописи, и потому мнение наше для них было неинтересным.

Сентиментализм в творчестве Лемоха, легко укладывавшийся в чувства нашего общества времен повестей Григоровича, пришелся по вкусу и заграничному обществу: в некоторых английских журналах Лемох был отмечен как лучший выразитель детского мира.

Ему, действительно, нельзя отказать в любви к детям, к крестьянской среде, в чувстве, вытекавшем из его искренней натуры.

И то, что делал Лемох в последние годы и что казалось теперь малым и сентиментальным, вначале борьбы за национальное, народное искусство было значительным и имело место в общем движении общественной жизни.

Так текла жизнь Лемоха в полном благополучии, и все было бы прекрасно в этом прекрасном мире среди прекрасных людей, если бы не одно «но».

Существование Лемоха сильно отравляла его мнительность, опасение всяких случайностей, от которых он укрывался в футляр. Он, как и чеховский герой, рассуждал: «Вот живешь-живешь, а вдруг – трах, и случится». – «Что же, собственно, может случиться?» – задавали ему вопрос. – «Как что? Да все, что хотите, – говорил Лемох. – Разве вы не читали, как кто-то шел по Морской и вдруг размокший от дождей карниз отвалился и едва не убил прохожего». И в сырую погоду он ее ходил по тротуару, а скользил посреди улицы.

Можно было взять извозчика, но в газетах сообщалось про случаи заражения сапом от лошадей, да к тому же на извозчиках полиция отвозит больных, и здесь можно заразиться, поэтому избегал он и извозчиков. Брился Кирилл Викентьевич у одного парикмахера, отличавшегося особой чистоплотностью и державшего для него отдельный прибор и полотенце. Как-то разговорился о жизни. «Все бы ничего, – говорит тот, – да вот беда: жена заболела». – «Заболела? А чем?» – спрашивает Лемох. – «Тифом». – «Тифом?» – Лемох схватывает шубу, шапку и с одной бритой щекой, а другой лишь намыленной бежит по улице делать дома дезинфекцию.

И, наконец, случилось: он убедился, что заболел чумой. Для

него стало ясно, что конец неизбежен. Оставалось обдумать завещание, чтоб никого не обидеть, и ждать смерти.

Дело было так: картина Лемоха была на выставке передвижников в Одессе. Вдруг он читает, что там произошел случай бубонной чумы. Итак – в Одессе чума, и там же его картина.

Под каким-то благовидным предлогом он выписывает картину обратно, дезинфицирует ее карболкой и одеколоном и сам вешает на стену. Но тут произошел роковой случай: картина сорвалась и слегка ударила его по шее. Появилась краснота и опухоль. День, два, три – опухоль не проходит и краснота тоже. Лемох идет к другу доктору: «Скажите, какие симптомы чумы?» – «А вам для чего это понадобилось знать?» – удивляется доктор. – «Да, так, вообще...» – «Ну, появляется опухоль». – «И может на шее?» – «И на шее». – «И краснота?» – «Ну, пусть и краснота, вам-то не все равно?» Но Лемоху было далеко не все равно. Одесса, чума, удар от картины, зараженной в чумном городе, опухоль и краснота! «Прощайте, дорогой друг, – говорит он доктору. – прошу меня не провожать и не прикасаться ко мне – я зачумлен».

И только через неделю, когда прошла опухоль, удалось убедить Лемоха, что опасность миновала и ему уже ничего не угрожает.

Все старики-питерцы, а Лемох особенно, принимали различные снадобья для предупреждения разных заболеваний и приближающихся старческих немочей. Верили в мечниковскую простоквашу, аккуратно ее ели, глотали льняное семя, и, если вы встречались с Лемохом, он прежде всего задавал вопрос: «Не находите ли вы, что льняное семя, безусловно, самое верное средство для поддержания организма? Не правда ли, я выгляжу значительно лучше, чем в прошлом году?»

Конечно, всякий гость с этим соглашался. Но пришла пора, когда уже ничто не могло отодвинуть неизбежный конец. Ноги его отказались скользить по паркету, голова беспомощно откинулась на подушки. В бреду он упоминал о кассовой книге Товарищества, опасался за ее точность, хотел довести все счета до конца. Но скоро и счетам его жизни был положен конец.

Отпевали Лемоха в академической церкви. И в гробу он лежал с застывшей деликатной улыбкой. Казалось, что Кирилл Викентьевич нашел для себя, наконец, место, где нет ни страха, ни каких-либо опасений.

Расходившиеся с похорон товарищи-передвижники обдумывали, кого бы им избрать в кассиры, и соглашались с тем, что такого, как Лемох, им больше не найти.

Примечания

Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841–1910) – живописец-жанрист демократического направления. Свои произведения посвящал главным образом жизни крестьянства, реже – сценам городского быта. Значительное место в его творчестве занимают образы детей, которых он изображал с любовью и знанием детской психологии. Учился в Московском училище живописи и ваяния, затем в Академии художеств, из которой вышел в 1863 г. в числе четырнадцати «протестантов». Был одним из участников Артели художников, членом-учредителем Товарищества передвижных художественных выставок. На передвижных выставках его произведения экспонировались с 1878 по 1911 г. Был кассиром и членом Правления Товарищества. С 1875 г. – академик. В 1897–1909 гг. был хранителем художественного отдела бывш. Музея Александра III (ныне Государственный Русский музей в Ленинграде).

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – выдающийся живописец-маринист. Учился в Академии художеств у М. Н. Воробьева. С 1844 г. – академик, с 1847 г. – профессор. Им создано огромное количество произведений – большей частью морские пейзажи, а также картины сражений русского флота. Свои работы экспонировал на многочисленных выставках в России и за границей.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) – писатель, один из ведущих представителей «натуральной школы» – реалистического направления в русской литературе 40-х годов XIX в. В 1864–1884 гг. был секретарем Общества поощрения художеств в Петербурге.